

Паперный З. Необманное слово : (об Александре Яшине) / З.
Паперный // День поэзии, 1971 / сост. Т. Жирмунская. — Москва,
1971. — С. 174-176.

Зиновий Паперный

НЕОБМАННОЕ СЛОВО

(Об Александре Яшине)

Последняя книжка стихов Яшина, тщательно собранная и отредактированная им самим, но уже не увиденная им, — «День творенья» (1968).

Ощущение необычности у читателя начинается с первой страницы. Мы привыкли, что на открытие сборника автор ставит программное, чаще самое мажорное, духоподъемное стихотворение. А здесь книга открывается... «Отходной». Ее поет сам себе автор, сурово корит себя за все, чего не свершил.

Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданье отзывался глухо.

Не всегда авторская самокритика — явление скромности. Иной поэт просто гвоздит себя — и так и этак, и стыдит, и вроде очень крепко на себя осерчал, но все это для виду, несерьезно, одно кокетство. Главное — его хлебом не корми, а дай повозиться с самим собой: поругаться, посетовать ли на трудную свою натуру, похвалить — неважно. Суть в том, что пишется все без отрыва от себя, не отводя глаз от поэтического зеркала, в котором только и видно, что собственное авторское отражение.

Ничего этого нет в «Отходной». Слышится в ней что-то отдаленно-есенинское — не в интонации, а в общем тоне: неподдельной суровости к себе, в обаянии скромно-

сти, если так можно выразиться, в неочарованности самим собой.

Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва,
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер носит.

Отдаваясь невеселым мыслям, поэт не свое лицо только видит, но и лицо природы, почти бессознательно связывает ход своей жизни с ее круговоротом.

О как мне будет трудно умирать...

Поэтическое вступление к книжке оказалось предисловием к собственному уходу из жизни, горестное и частное «совещание» с самим собой читается сегодня как завещание поэта, его последний наказ судить себя строго и нелицеприятно.

Однако после «Отходной» с ее последней строкой, которая вырывается, как глубокий вздох: «И никаких нельзя извлечь уроков...», совершенно иное стихотворение, давшее название итоговой книге, — «День творенья».

Заглавие звучит торжественно, почти с библейской возвышенностью, предвещает рассказ о значительном, о сотворении мира. А говорится в стихотворении всего-навсего об одном цыпленке: «восемь цыплят вылупилось, а одно яйцо не дозрело, наседка про него забыла. И герой сам принимается спасать «недосиженного» птенчика.

...Я положил его в тряпку,
 Затем в мохнатую шапку,
 А в шапке
 На теплую печку.
 И вот мой младенец ожил
 В шапке, как в люльке, в зыбке.
 Ожил! —
 Спасибо, боже! —
 Забился, закопошился,
 Зацевкал
 И опушился.
 Голос его был звонок.
 Это уже был цыпленок.
 Ах ты мой соколенок!
 Орленок ты мой!
 Миленок!
 Родимый ты мой, роженный,
 Я — крестный твой нареченный.

Потом пора настала,
 И клушка его признала.
 А я отошел в сторонку,
 Счастливый до умиления,
 До слез,
 До вдохновения,
 Как бог в первый день творения.
 Я жизнь сохранил цыпленку,
 Пусть хоть одну,
 Но — жизнь!
 Без преувеличения.

Казалось бы, «Отходная» и «День творенья» совершенно полярны друг другу. «О как мне будет трудно умирать» и — «Как бог в первый день творения»...

Но чем внимательнее мы вчитываемся, тем больше открывается связь между этими стихотворениями. Первое, что их сближает, если так можно сказать, отданность поэта своему чувству. Оно действительно им владеет. Не сдержанность, а «одержимость», уж если недовольство собой — так полное, никакие оправдания в расчет не принимаются. А радость по такому маленькому «цыплячьему» поводу разрастается, распирает грудь, доводит «до умиления, до слез, до вдохновения» — до того доводит, что поэт, ожививший одного птенчика, чувствует себя чуть ли не творцом-жизнедателем. И так естественно нарастает чувство, что, казалось бы, затертые, чуть ли не скомпрометированные в поэзии слова «умиление», «вдохновение» не расхолаживают, вроде как бы оправданы: герой действительно растроган, а не старается специально нас растрогать.

Однако общее в этих двух стихотворениях не только в том, что автор и там и здесь предстает как натура эмоциональная, увлекающаяся, отдающаяся бурному наплыву чувств — то горестных, то радостных; и натура, склонная к преувеличениям: то он готов был перечеркнуть всю свою

жизнь, то ощутил вдруг себя «богом в первый день творения».

За что он строже всего судил себя в «Отходной»? За то, что «на страданья отзывался глухо». Чему радуется в «Дне творенья»? Не самому себе и не просто жизни, а доброму делу. Радуется, что жизнь сохранил — пусть хоть одну, пусть хоть цыпленку, но — жизнь.

Можно сказать, что и там и здесь мысль поэта, его горе и радость восходят к одному источнику. Не самим собою он жив, доволен или нет, но прежде всего своим отношением к другим судьбам и жизням.

Природа для него живая — не просто названа, а именно увидена живой:

Роща как стадо оленей,
 Сгрудившихся в мороз.

И, что особенно важно, стихи о природе имеют для поэта самое непосредственное отношение к размышлениям о человеке. Вот один из самых характерно яшинских заголовков: «О погожих днях и хороших людях». Это — в одном ряду. Возникает образ человека, живущего не одной своей личностью, но большим и живым «миром»; образ человека, условно говоря, общинного, общественного, лирически открытого, никак не замкнутого рамками своего «я».

И все это — не в спокойном саморастворении на лоне природы, не в гарантированном душевном покое, а чаще всего — в резких переменах настроения, состояния духа, неожиданных находках, открытиях, похожих на разрывы в тучах.

Нет романтической дымки, туманности, приблизительности: взгляд поэта соединяет в себе почти детскую открытость, доброту с охотничьей пристальностью, зоркой приметливостью.

Яшинская любовь к людям, к друзьям — в городах и в лесах — лишена искусственной завышенности. У него запросто соседствуют «эти дали снежные и первач мороз»; зимней ночью поэт ждет, чтобы не просто пропел или прокукарекал, но чтобы «рубанул петух». А соловей у него не щелкает, не пускает трели: «...ему, соловью, плевать: знай себе работает — поет».

Подлинная поэзия никогда не жеманилась, не чистоплюйствовала и не белоручничала.

У каждого лирика — свое представление о музе, о Пегасе. Светлов гордился тем, что накормил небесного коня поэзии «земным овсом». Яшин идет, пожалуй, еще

далее. В стихотворении «Рогатый Пегас» он рисует себя, поэта, простым дояром:

За словом слово
В строфу сую,
И впрямь корову
Сижу дою.

Беру в кулаки
Тугие соски,
Четыре струи —
Четыре строки.

Это поэтически рискованные и — смелые строки.

Корова,
рога
До земли клоня,
Как на врага
Глядит на меня.

Вот-вот в бедро
Шибанет ногой,
Свернет ведро,
Разольет надой.

Озорная, веселая, юмористическая картинка... Но поэт редко кончает на такой ноте.

Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.

И здесь мы уже до конца узнаем неповторимый голос Александра Яшина — с его щемящим чувством близости к природе, спокойствием, постоянной неудовлетворенностью самим собой, с его резкими переходами от печали к радости, от веселья к горечи. Узнаем поэта по отсутствию плавно закругляющихся концовок и заданных решений. По той достоверности чувства, которая так нужна сегодня нашей поэзии, ищущей слов живых, точных и необманных.